

Андреев Ник. Ценная книга. «Чехов» Бор. Зайцева // Русская мысль. Париж, 1955. 27 апреля. № 757. С. 4–5.

ЦЕННАЯ КНИГА

“ЧЕХОВ” БОР. ЗАЙЦЕВА

ЖАНР так называемой “художественной биографии”, в котором — в сущности — новая книга Б. К. Зайцева относится, пожалуй особенно большое распространение между двумя мировыми войнами*).

Жанр этот поворотился на компромиссе между историческими материалами и художественной их обработкой с откровенной примесью воображения. В утверждении жанра сыграли немалую роль два фактора. Во первых, — общая демократизация читательской аудитории, желающей получить представление, хотя бы самое общее, о характерных или выдающихся деятелях той или другой эпохи, но не располагающей возможностями длительно и подробно ими заниматься. Во вторых, — утверждение ряда деятелей и творцов культуры, что без принесения в историческое повествование духа воображения не возникает творческого показа прошлого; груды документов о прошедшем нельзя назвать надлежащим образом, если не призвать на помощь воображение. Древняя эта мысль, идущая еще из античного периода, в литературной практике нашего века привела в большинстве случаев к безцеремонной стилизации материала, к потертости отблесков изображений, к нарочитой кривизне портретов.

Но появление такого своего рода литературного Холливуда, малонадежного в смысле исторической познавательности, психологически все же связанного и художественно ограниченного биографической канвой, оказалось небезразличным опять-таки в двух отношениях. Явочным порядком произошло в сознании читателей законное размежевание лите-

ратуроведения вместе с историческим исследованием, которые опираются на источники и их критику, как метод работы, и свободного, поверхностного или глубокого, фактического или романсированного — изложения *специальной* о материале, — впечатлений субъективных, часто весьма смелых. Однако, самым главным оказалось осознание, что для таких “художественных биографий” чрезвычайно важна личность их автора. В этом обнаружилось оправдание этого жанра, ибо если автор представляет собой величину творческую, тогда интересны и значительны даже его умолчания, даже его заблуждения.

Уместно вспомнить, что в русской литературе зарубежом этот жанр был не раз оправдан самым блестящим образом. Без намерения дать исчерпывающую сводку в этом отношении, можно назвать блистательного “Державина” Владислава Ходасевича, превосходнейшие книги М. С. Цетлина о декабристах и “могучей кучке”, создавшей мировую славу русской музыке, мастерские “Портреты” и острейшие “Современники” М. А. Алданова, который в области исторической характеристики писателя, давно вышедший, конечно, за пределы русской словесности: равного ему здесь нет ни в одной из современных литератур.

В творчестве Бориса Зайцева жанр “художественной биографии” — далеко не основной. Он — лишь один из аспектов в его многообразном многотысячнострастным литературном хозяйстве, — аспект, позволяющий читателям как-то неожиданно, под иным углом, чем обычно, увидеть этого замечательного мастера современной русской прозы.

Б. К. Зайцев — писатель большой индивидуальности. У него свой язык, свой стиль, собственный ритм

прозы, свой писательский мир, оригинальная — не с чужого плеча — тематика. Борис Зайцев — явление в русской литературе индивидуальное, утвержденное, бесспорное. Вероятно, именно поэтому о нем спорят (ничто так не любит русские образованные слои, как “испровержение кумиров”, расшатывание авторитетов, “переоценку ценностей”). Иногда Зайцеву показывают “зубы”. Показывают и “свой” и “другие”. Пример первых — Ф. А. Стенун, кажется — еще со времени его приснопамятных “Писем о России” в “Современных Записках” и особенно с эпохи утверждения “Нового Грала” — огорчающийся Зайцевскими “благоустроенностью” и “березками”. Пример “других” — поэт Алексей Сурков (тот самый, к которому К. Симонен обращался: “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...”), атаковавший на недавнем Втором Съезде Союза советских писателей в Москве Б. К. Зайцева, и в его лице, русскую словесность вне России. Эта атака именно на Бориса Зайцева не объясняется лишь его выступлением по мюнхенскому радио “Освобождение”. Мало ли кто говорит ежедневно в эфир по-русски в не-советских радиовещаниях. Но Борис Зайцев — писатель всероссийского имени еще до своего отъезда за границу, а главное — все его мировоззрение, все его глубокая религиозность, весь тон его сибирского творчества, вся сила его спокойного, сильного, умиротворяющего слова, все своеобразие его писательской манеры, которую ни с чьей иной невозможно спутать, его утверждающая уверенность в темах вечно России, которой он вверил весь свой долгий творческий путь, не могут не быть мишенью, если хотят произволить атаку. Долгое молчание в России о русской литературе зарубежом нарушено характерным образом: попыткой присвоить *чужого* Бунина и “отвести” *живого* Зайцева.

ПРИМЕРНО четверть века тому назад Борис Зайцев отдал первую лаву жанру “художественной биографии”, написав превосходную “Жизнь Тургенева”. Книга нашла

читателей и была высоко оценена критикой. Кажется, наиболее сдержанным из всех отзывов была рецензия в пражском журнале “Воля России”, где критик, которым был автор этой статьи, воздавая должное таланту Бориса Зайцева, выражал некоторые сомнения в достоинствах самого по себе жанра “художественной биографии” и обнаруживал, хотя и законный в рамках жанра, но все же спорный етушевывания некоторых сторон жизни и личности Тургенева.

Несколько лет назад рецензенту суждено было дать отзыв во франкфуртском журнале “Грани” о второй книге Б. К. Зайцева, написанной опять в том же жанре. “Жуковский”, как помнят все читатели этой книги, написан чудесно, в нем сомнительна лишь одна черта, тогда же отмеченная рецензентом: автор книги ради своего героя пошел на употребление условного наклонения при характеристике взаимоотношений Жуковского и Пушкина, — между тем, здесь, конечно, основоположной является надпись Жуковского на собственном портрете, подаренном им Пушкину: “Ученику от поблаженного учителя”.

Третья книга Б. К. Зайцева в том же жанре, на этот раз о Чехове, была прислана на отзыв еще в августе прошлого года. Но своими новыми чертами в подходе к “художественной биографии”, новым осмыслением Чехова она привнесла нечто новое эту статью, произведя предварительный пересмотр основной Чеховианы, по которой даже справочники, весьма, впрочем, уже неполные, являются увы истинными томиками. Эта книга заставила пролистать разрозненную юбилейную литературу прошлого года, поскольку она представлена в грандиозной библиотеке Британского Музея в Лондоне.

Чехов не любил юбилей. Отшумевший год пятидесятилетия его смерти, пожалуй, оправдал такую его противоположную настроенность. О Чехове было написано немало “горячих” и “прочувствованных”, в большинстве своем восхваляющих страниц. И так же, как при его жизни, его с большой энергией

пытались объявить “призрачным” во всевозможным “идеологическим колесницам”, — от попутчиков коммунизма чуть ли не до возможных “идеологов” боевых антикоммунистических движений. В этом есть, конечно, и нечто удивительное: значит, велика слава Чехова, если поэтому столь хлопотуют о чести приписать его непременно к “своему клану”, о возможности взять его творчество “на вооружение” своих точек зрения. При этом, как показал Г. П. Струве в двух ценных статьях (“Чехов в советской цензуре”, “Новый Журнал”, XXXVII, 1954 год; “Чехов. Мейерхольд и советское фальсификаторство”, “Грани”, книга 22, 1954 год), в нашем отечестве не удержались даже от прямых искажений чеховского литературного наследия, вычеркнув отдельные места в его письмах. Б. К. Зайцев тоже отмечает в рецензируемой книге сходный факт (стр. 17-18), когда советский биограф выбросил из письма Чехова фразу с упоминанием о Боге.

В море старой и новой Чеховианы попрежнему не слишком много глубоких и — главное — ярких слов о Чехове. Страшная писательская судьба у него. В особенности русские литературные критики могли бы в принадлежность откровенности с полным правом переименовать знаменитую фразу римлянина: “Неосмыслены мы в славу писателя своего”. Его стилизовали и стилизуют непрерывно. “А есть ли у господина Чехова идеалы?” ставился грозный вопрос критиком, страдавшим своего рода астмой “гражданского пифоса”. Советам всерьез его объявляли “жрецом безпринципного писания”. Он — “пловец хмурых людей”, “сумерек жизни”. У него — “лебединая нбеля старой (девятнадцатого века) России”. И напротив: “Чехов — оптимист”, у него — “вера в прогресс”. Он — “борец” и “нытиков”. Чехов — “борец”. Его идеал — будущее”. И так далее и тому подобное.

Понятна прелесть Чехова, сказанного кому-то после чтения подобной критической статьи о себе — “А. п. батенька, оказывается

*) Борис Зайцев “Чехов”, издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1954, 262 стр.

學 處

Надо подчеркнуть, что было бы ошибкой понять книгу Зайцева, как попытку создать новую — оригинальную — стилизацию Чехова, как писателя затаянных или явных религиозных поисков. Если это было бы так, "Чехов" Б. К. Зайцева оказался бы "жертвой" ограниченных возможностей жанра "художественных биографий", была бы только талантливой очередной стилизацией Чехова.

Зайцев в "Чехов" посвятил
жанр "художественной биографии,
на опасности которого указывалось

Прежде всего — в цельности показа Чехова. Отказ от усложнения или смягчения отдельных сторон личности и жизни Чехова привел Зайцева к употреблению удачного приема: соединению хронологического принципа, неизбежного в биографии, с тематическими группировками материала. Благодаря этому приему, возможному лишь для мастера литературной техники (иначе были бы повторения), читатель несколько раз и с разных сторон подводится к основным темам жизни и писательства Чехова. И образ Чехова вместо обычного в биографиях так называемого «плоскостного рельефа» приобретает, благодаря изобразительному искусству Зайцева, многопланность, а то важнейшее, что неопределинно именуется «внутренним миром», становится истинным героем текста и, действительно, увлекает читателя.

Пожалуй, тайна авторской исклю-
чительной удачи не в последней сте-
пени заключается в тонѣ Зайцева.
Он ни на чем как будто бы не на-
стаивает: он показывает, он пояс-
няет, он разсуждает вслух, он не-
памфлетно опирается на первоисточ-
ники, восхищается, сожалеет, пред-
полагает, ничто не навязывает. А в
результатѣ читатель забывает даль-
ше Зайцева (что и требовалось,
впрочем, доказать: лучшая награда
писательскому усилію).

Зайцев прямо говорит (стр. 132), что у Чехова была "давняя тоска".

Нельзя надоедать говорить о деталях книги, которая столь свежа и памятна всем читателям. Среди отдельных мыслей Зайцева (а книга богата ими в степени необыкновенной) очень важно с литературной точки зрения замечание о ритме прозы (стр. 255): мысль, особенно близкая автору "Замыслов о журналах" в этой газете.

Одна оговорка, представляющая общий интерес. Зайцев (стр. 143), говоря о чудеснейшем рассказе Чехова "Студент" напечатанном в либеральных "Русских Ведомостях", замечает: "Вероятно, с последующим читали этот рассказ интеллигентны с бородами клинушкой, честныя курености и благородныя

И несомненно был глубок и прочен корень бытового православия. Вот иллюстрация. Страстная седмица рокового 1914 года. Имение в восьми верстах от Петербурга. Дом набит гостями: петербургские студенты и курсистки, — все больше тверитяне. Молодые ребята, радикальнейшие взгляды, собирают деньги для какого-то коллеги, высылаемого полицией "в места не столь отдаленные" — в Архангельский край. Звонок телефона. Священник сообщает хозяину, который староста местного прихода, что "Разбойника благоразумного" нет никому. Хозяин, сторонник кадетской партии, сразу в трубку: "Ничего, я это устрою". И в церковь поет мужской квартет: эсер, меньшевик, конечно), эсер, постененовец и хозяин-кадет, который и регентирует. Спели так замечательно, что — совсем по Чехову и по Зайцеву — плакали и священник, отец Стефан, и половина богомольцев, особенно старая нянюшка, когда-то кривостная, но упорно порицавшая акт 19 февраля, — "от поля-то и пошла блажь в людях". И Пасхальную заутреню спели те же самые курсистки и студенты, которые на "масках" славились быть хором революционный народнический репертуар. Такой же, вкратце, была Россия и в девятые годы, когда был опубликован Чеховский "Студент".

И другой эпизод, уже более "покасаельной", но в основе подхоль-
ний к тем.

И вот какой разговор с советским генерал-майором, членом военсовета и начальником дивизии, после того, как осмотрены главные достопримечательности. — «Скажите, а православная церковь есть? А какой хор в ней? Люблю хорошее пение. И чтобы, знаете, басом глубоко заиграли, кричали... Вот, у нас (может, слышали?) эдак-то-то отличными фильмом накрутил о Иване Дроздом. И в нем замечательная сцена: коронация в соборе. И, знаете, многолетие возглашают. Бас необыкновенный, Михайлов, бывший протоиерей. Глубоко заиграет, так я, как услышу, что фильм дают, захожу послушать. И прямо дрожь. Детство вспоминаю. В нашем соборе тоже протоиерей был замечательный: как рыкнет, так подвигульки, знаете, на паникадилях и задрожат...

Разговор любопытный и "с глазу на глаз", потому что по узкой лестнице, растаявший дымочкой, случалось с высоченной колокольни старинного католического собора. Не есть ли и этот разговор лишний раз доказательством многогранности человеческой души? У генерала, по наблюдению его собеседника, среди наград был и орден Ленина, который едва ли бы получил безартистный.

Пужен ли итог к этой длинной статье? Б. К. Зайцев на вершине своей писательской наполненности дал "шах и мат" ограниченности жанра "художественной биографии", и его "Чехов" есть ценный вклад в Чеховиану вообще и, как кажется, ценнейшая работа из всей многочисленной и разноразличной юбилейной литературы о Чехове последних лет.

Ник. Андреев